

А 2006

8612к

БАЙРАМОВ  
УРАТОВ

ТОМ I

Постановлением  
Центрального Комитета КПСС  
и Совета Министров СССР  
писателю

*НУРПЕЙСОВУ*  
*Абдижамилу Каримовичу*

за трилогию  
«Кровь и пот»

(Книга I — «Сумерки», книга II — «Мытарства»,  
книга III — «Крушение»)

присуждена  
Государственная премия СССР  
1974 года.



**А** **БДИЖАМИЛ**  
**Н** **УРШЕИСОВ**  
**КРОВЬ И ПОТ**

РОМАН

Том I

Книга первая

**СУМЕРКИ**

Книга вторая

**МЫТАРСТВА**

Авторизованный перевод с казахского  
Юрия Казакова

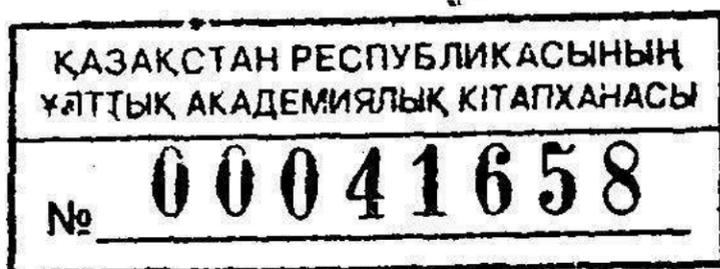
*Издание восьмое*



АЛМА-АТА «ЖАЗУШЫ» 1984

821.181.1(574)-3

Каз 2  
Н 90



**Нурпейсов Абдижамил.**

Н 90 Романы в двух томах.— Алма-Ата: Жазушы,— т. I. Кровь и пот: кн. I. Сумерки; кн. 2. Мытарства (Авт. пер. с каз. Ю. Казакова. 1984.— 480 с., 6 л. ил., портр.

В первый том вошли первая и вторая книги историко-революционной трилогии видного казахского прозаика лауреата Государственной премии СССР Абдижамил Нурпейсова «Кровь и пот», охватывающие события, происходившие во время первой мировой войны и накануне Октября.

Автор рассказывает о нелегкой жизни рыбаков-казахов на берегу Аральского моря, о беспощадной эксплуатации их труда.

Прозу Нурпейсова отличает широта обобщений, яркость самобытных национальных характеров, тонкость психологического анализа.

Н 4702230200—193  
402(05)—84 209—84

Каз 2

© Художественное оформление, «Жазушы», 1984.

## СЛОВО О НУРПЕИСОВЕ

Биографическая справка об Абдижамиле Нурпеисове укладывается всего в несколько строк. Родился в 1924 году в рыбацком поселке на берегу Аральского моря, в семье кочевника, занимавшегося охотой и рыболовством. В 1941—1945 гг. прошел ратный путь солдата по огненным дорогам Великой Отечественной войны. Первые выступления в печати относятся к 1949 году. В 1956 году окончил Литературный институт имени М. Горького...

Не намного длиннее и справка библиографическая. Начальный рубеж писательскому творчеству положил роман «Курляндия» (1950), создававшийся в те первые послевоенные годы, когда, вспоминая Абдижамил Нурпенсов позднее, «в литературу шла совсем еще зеленая, безусая молодежь в пропахших пороховым дымом, потертых шинелях». В 1958 году роман «Курляндия» вышел в новой редакции под новым названием — «Долгожданный день». 1961, 1964, 1970 гг. — порубежные даты завершения романов «Сумерки», «Мытарства», «Крушение», которые сложились в трилогию «Кровь и пот», удостоенную Государственной премии СССР (1974). Последующие десять лет были отданы работе над романом «Долг», опубликованном в 1982 году. Очерки и статьи, написанные за «промежуточное» между романами время, собраны в книгах «Раздумья» (Алма-Ата, 1972), «Все в нем пело» (Алма-Ата, 1978), «Край голубых озер» (М., 1979). Вот, собственно, и все, с чем пришел Абдижамил Нурпеисов к своему 60-летию...

Роман о Великой Отечественной войне, оставшийся не переведенным на русский язык, историко-революционная трилогия, роман о современности — не слишком ли мал этот перечень созданного за тридцать пять лет напряженного, самоотверженного, сказать бы даже подвижнического труда в литературе?

Но в том все и дело, что диалектический закон перехода количества в качество в творчестве каждого писателя проявляется всегда по-своему. Глубоко по-своему приложима к литературному труду Абдижамил Нурпеисова и неукоснительная заповедь «ни дня без строчки». Действительно, редкий день обходится у него без вновь написанной строки, но долгий и зачастую тернистый путь этой строки от рукописи до книги занимают даже не месяцы, а годы. «Нурпеисов пишет медленно, трудно, вкладывая всего себя в каждую строку. Он не может двигаться дальше, если что-то не устраивает его в написанном. И тогда он возвращается назад, чтобы перечеркивать, исправлять, творить заново», — рассказывает критик Л. Теракопян в послесловии к одному из изданий романов «Сумерки» и «Мытарства». И приводит такой крайне характерный для А. Нурпенсова эпизод: «В 1960 году, например, были закончены вторая и третья книги трилогии «Кровь и пот». В издательстве быстро одобрили рукопись. Но перед самой сда-

чей в набор писатель попросил ее на пару дней домой для несущественных стилистических поправок. Как часто бывает, одна поправка повлекла за собой другую, и обещанная «пара дней» растянулась в годы. Только в 1963 году Нурпеисов поставил точку на второй части, а работа над третьей (послесловие писалось в 1969 году.— В. О.) не завершена и поныне».

Как завершалась эта работа, мне довелось увидеть лично. Заведую в то время отделом прозы в редакции журнала «Дружба народов», напечатавшего в конце 1972 года роман «Крушение»— последнюю книгу трилогии «Кровь и пот», я имел редкую, счастливую и крайне поучительную возможность наблюдать, как неутомимо шлифовал писатель свою рукопись. Слово для Абдижамила Нурпеисова что гранитная глыба для каменотеса. Он подолгу примеривается к нему, пробуя его будто на ощупь, и тщательно, кропотливо обтачивает каждое в отдельности, прежде чем прочно приладить одно к другому, сложить из слов фразу, а из фраз страницу. И по множеству раз возвращается затем к черновой странице, переписывает, правит, пока не убеждается, что слово в ней пригнано к слову, и каждое из них на своем месте, и только оно одно было единственно необходимым. Поистине, как заметил А. Нурпеисов в очерке «Хлеб — добро народное» («Литературная газета», 1972, 6 сентября), пораженный «непостижимой ширью пшеничных полей» на целине, «есть какая-то глубинная, роднящая связь, исконная близость между сельскохозяйственным трудом землепашца и мучительными поисками художника». И правомерно будет поэтому применительно к нему самому продолжить старую казахскую пословицу, приведенную в очерке «Край голубых гор» («Правда», 1973, 21 октября)— о «жемчужине земли» Кокчетау: у рыбака заботы каждый день, у хлебороба — каждый год. С раннего детства сроднившись с трудом аральских рыбаков, влюбленно поэтизируя в сегодняшних очерках труд казахстанских хлеборобов, А. Нурпеисов подтвердил собственным примером, что у писателя заботы — вся жизнь. В этом внушительно убеждает творческая предыстория трилогии «Кровь и пот», задуманной еще в 1947 году и писавшейся непрерывно, на протяжении более чем двух десятилетий.

О том, как возник замысел этой трилогии А. Нурпеисов рассказал однажды в Эрфурте на творческой встрече советских писателей с писателями ГДР. В своем выступлении («О моем народе», 1971), он создал автобиографический портрет молодого солдата, война-победителя, вернувшегося на родину после войны и по-новому зорко вглядывавшегося в необозримые степные просторы. «...Представьте перед своим мысленным взором 1947 год, лето, выжженную палящим солнцем полынную степь Казахстана где-то на берегу Аральского моря. И еще представьте двадцатитрехлетнего молодого паренька. На недавней войне у него погиб отец и три родных брата отца. И этот молодой человек только недавно вернулся из армии. Он видел родной аул,

обремененную нуждой мачеху и сестренку свою. Он видел овдовевших жен, и осиротевших детей, и не успевшие еще оправиться от войны рыболовецкие колхозы. Везде и всюду измученные люди, в основном старики, старухи, женщины и дети. И еще калеки войны. Что и говорить, было тяжело... Тоскливо. Однажды этот молодой паренек выехал в районный центр. Возница был стар и угрюм. Телега тарахтела, тряслась по неровной, в кочках и ямах пыльной дороге. Ехали молча час, другой, третий. Время от времени паренек слезал с телеги, снимал ботинки и по горячей пыли шел босиком за телегой. Куда ни кинешь взор, всюду простиралась безмолвная, побуревшая от зноя полынная степь. «Да-а,— думал он,— она, эта земля, всегда была вот такой невзрачной, скудной, безмолвной, но всегда бесконечно дорогой и милой тебе. А как стара и многострадальна она! По этой дороге прошли неведомые караваны человеческих поколений. Сколько кровопролитных войн, стремительных набегов самых свирепых полчищ — калмыков, монголов, джунгар, даже железных легионов Македонского перевидала и пережила она на своем веку. Эта земля пресыщена человеческим горем. Ведь на этой, именно на этой земле, родились наши отцы, наши деды, прадеды. Вместе с ними рождались их мечты, вместе с ними и умирали. Они жили в нужде. Тоже пасли скот, ловили рыбу, женились, любили, ненавидели, боролись. Сколько слез матерей и вдов пролито на этой вот выжженной солнцем земле с момента сотворения мира. Сколько пота и крови пролито здесь твоими храбрыми предками. «Кровь и пот» — думал паренек, невольно повторяя потрескавшимися губами про себя эти обжегшие вдруг душу его слова. Вот тут-то впервые и пришла ему в голову мысль, что он должен когда-нибудь, если сможет, написать книгу о пролитой крови и поте своих предков»...

В высшей степени примечательное воспоминание! Признание и свидетельство. Пройдя грозными и многотрудными дорогами Великой Отечественной войны, Абдижамил Нурпеисов по-иному осознал судьбу родного казахского народа, более пристально стал вглядываться в его историю. Осознанный, последовательный историзм художественной мысли отличал, как видим, уже изначальный замысел трилогии, которая с первых же страниц создавалась как произведение эпическое, широкоохватное и крупномасштабное.

«Творчество писателя нельзя отделить от родной почвы и рассматривать обособленно. Ибо творчество любого писателя мужает вместе с общенациональной литературой», — убежденно настаивает Абдижамил Нурпеисов. Говоря о «почве» — отстоявшемся опыте традиций, — на которой выросло, окрепло его собственное дарование, раньше и прежде других следует назвать Мухтара Ауэзова.

Ориентируясь на открытия Мухтара Ауэзова, на «суровый реализм» его прозы, Абдижамил Нурпеисов шел по пути, проложенному учителем, «терпеливо и настойчиво» отыскивал «в потемках истории»

запорошенные временем следы предшественников, принимал на себя «тяжкую скорбь ушедшей эпохи». Не отсюда ли сквозной образ сумерек, давший название первой книге трилогии?

Широта и всеохватность романа — едва ли не самая плодотворная художественная традиция реализма. Жизнестойкости ее многие литературы народов СССР обязаны ныне «культурным взрывом» — резким, стремительным скачком в обогащении своих социально-аналитических возможностей. Одним из внушительных свидетельств этому и стала трилогия Абдижамила Нурпеисова «Кровь и пот».

Развивая традиции «широкозахватного», по давнему определению М. Ауэзова, эпического повествования, которые мы вправе назвать сегодня традициями как национальной казахской, так и всей многонациональной советской прозы, трилогия А. Нурпеисова «Кровь и пот» явилась своеобразным открытием мира народной жизни, необъятного, как густое, сочное разнотравье в степи, воссозданием судеб народных на стрежне революционной эпохи. Не летопись даже, а летописание — вот, пожалуй, наиболее уместное здесь слово, способное объяснить секреты писательского мастерства, облекающего в неповторимую судьбу, в самобытный характер героя такие обобщающие понятия, как проникновение в казахскую степь капиталистических отношений, как кризис феодально-патриархального уклада, кочевого быта, племенных связей и родовой морали, как социальное расслоение народа и пробуждение революционного самосознания трудящихся масс в накале классовой борьбы, в очистительной грозе Великого Октября, в сокрушительных бурях гражданской войны.

Нескрываемая социологичность подобных обозначений вряд ли должна смущать нас. Каждое из них, по-своему характеризуя содержание трилогии, указывает на те движущие закономерности народной истории, которые формируют сознание человека, складывают его характер, определяют судьбу. Ведь не в чем ином, как именно в этом последовательном соотнесении судьбы человеческой и народной, и раскрывается наиболее действенно историзм художественной мысли, от книги к книге движущей романное повествование по специфическим законам образного пересоздания действительности.

Вслед за сумерками — мытарства. Также сквозной образ-мотив, драматизм которого задан эпохой. С главным героем трилогии, «одиноким в яростным» Еламаном, мы расстаемся в финале второй книги в один из самых драматических моментов его жизни. «Басмачи хана Жонеута совершили набег на прибрежные казахские аулы», разорили жалкие землянки аральских рыбаков, убили или угнали в плен людей. Творя поминальную молитву над старым Мунке, погибшим от разбойничьего набега, Еламан «глубоко и печально» задумывается о судьбе своего обездоленного народа. «В чем ее тайный смысл?» Почему сородичи и соплеменники не сумели объединиться даже перед случайной горсткой врага? Неужто жестокие раздоры и распри — «общая судьба всех ка-

захов»? И что питает их бессилие и покорность, вынуждает «терпеть голод и нищету», сносить рабство? «Беспечность — не она ли вечный бич казахов? Были ли сыны, которые ради чести народа бросали клич в трудный час, клич, объединяющий народ?»

Конечно же, были. Кому, как не Еламану, знать это, если его прадед «в седьмом поколении Тойгожа тоже был батыром. И когда в одном из многочисленных боев ногу его пронзила стрела и нога стала гнить, он призвал аульного костоправа и велел отнять себе ногу. С тех пор его звали Хромым Волком...» Но в том-то и дело, что человек жив своим, а не заемным умом. И на перевале эпохи, круто меняющей многовековые пути национальной истории, не «преданья старины глубокой», а лишь социальный опыт современных поколений, выстраданный и обретенный ими, в силах подсказать ответ на эти неотступные вопросы. Тем жестче судит Еламан «мудрых старцев», которые, «тоскуя по безвозвратной старине», «охотнее оглядывались назад, чем заботились о будущем». И тем бесславнее представляются ему их деяния, если они разжигают раздор в степи: «Немногочисленный народ захватил огромные земли, и что он выгадал? Широки были земли, но широки ли были думы и дела народа? Тяжбы, споры о земле за многие века подточили силы, породили междоусобицу — и теперь презирают и угнетают этот народ все, кому не лень»...

Пока что это не истина — лишь тяжкий и мучительный путь к ней. Не потому ли погруженный в свои печальные думы Еламан и «был похож на беркута, ослабевшего в полете и присевшего отдохнуть на вершину скалы»?

Беркут расправляет крылья — в этом смысл духовного преображения Еламана в романе «Крушение» — третьей книге трилогии, непосредственно обращенной к событиям Великого Октября и гражданской войны на казахской земле. О нем не скажешь уже, что «жил он себе, довольствуясь долей, отпущенной ему скрягой судьбой, такой скудной и ничтожной, будто горсть проса, брошенная курам». Пережитки родового сознания, сковывавшие Еламана путами архаичных представлений о мире, окончательно уступили место сознанию социальному, классовому. Не стихия индивидуалистического бунта ведет его теперь крутыми дорогами жизни, а осознанное участие в коллективной борьбе за правое дело. Он поверил в силу единения людей, поколений и народов, увидел в ней грозное противодействие байскому беззаконию и произволу. Оттаивая сердцем сам, он щедро отогревает других. Благодаря ему возрождаются к обновленной жизни и несчастная Акбала, в чьей душе все «черствело, застывало камнем», и бесправная, одинокая, как «заброшенный молодой тополек», Кенжекей — словно «благодатный дождь» хлынул вдруг с неба на «увядшую было молодую жизнь»...

Беркут расправляет крылья. Но как тяжело дается подчас каждый взмах! Здесь и груз прошлого, довлеющий над соплеменниками и сородичами Еламана множеством вековых предрассудков и предубеждений,

косных традиций и обычаев. И непонимание революционных перемен, пришедших в древнюю степь, стародавний кочевой быт. И яростное сопротивление обреченного мира, достигающее наивысшего накала в боях под Челкаром и Аральском.

Кульминационные сцены этих боев можно отнести к лучшим в трилогии. Для них не прошли бесследно ни Аустерлиц в «Войне и мире», ни Новочеркасск и Ростов в «Тихом Доне» или Царицын в «Хождении по мукам». Жаворонок, вспорхнувший над окопами после «яростного наступления боя», так же проясняет души героев романа, так же много говорит им о непреходящих и вечных ценностях жизни, как и неизмеримо высокое, бесконечное небо, принесшее тишину и успокоение князю Андрею..

Вспомним неистовство моря в первой книге трилогии — kloкочущий бурный Арал сродни беспокойной стихии народной жизни предреволюционных лет. Или полыханье весенних степных тюльпанов во второй книге — они расцвели так ярко, что их можно было уподобить крови, которая лилась на фронтах мировой войны. Реалистическая поэтика Абдижамилы Нурпейсова не чурается многозначной символики. Не звонкоголосый жаворонок, чью «бойкую трель» любил слушать мурза Танирберген, а «огромный черный стервятник» — да не один, стая! — кружит над белой армией, которую он, бай, самый богатый и влиятельный в большом роду, ведет через пески и барханы пустыни. В сражении под Аральском решилась «и его судьба, судьба всей его будущей жизни». Подводя итоги пережитому, Танирберген даже прозревает теперь до истин классовой борьбы и также вершит мысленный суд над национальной историей. Но посмотрите, какой кастовой и сословной оказывается его отравленная «презрением степного аристократа» мысль в сравнении с народной мыслью Еламана.

Да, Танирберген не чета своему ничтожному и спесивому брату, волостному Кудайменде, убитому конокрадом Каленом в первой книге трилогии. «Водя дружбу с русскими и татарскими купцами, молодой мурза был хорошо посвящен в их дела. И чем пристальнее наблюдал он этих предприимчивых людей, тем сильнее росла в нем неприязнь к беспечным и ленивым по природе казахским баям со всеми их несметными табунами и неоглядными пастбищами». Сам «красавец мурза» не был ни беспечным, ни ленивым. Не в пример другим, он не довольствовался «тем только, что ниспошлет ему всевышний, и не ждал смиренно от слепой судьбы крохотной милостыни. Всю жизнь проводил он в оживленной деятельности». Зловещие ее плоды мы видели в первых двух книгах трилогии, где, изошренный в посулах и подкупе, искушенный «в ожесточенных родовых распрях», Танирберген явил новый тип умного, просвещенного, цивилизованного хищника. Вот и в третьей книге он «тем более не мог отлеживаться и спокойно ждать завтрашнего дня» — авось «кутерьма событий» минует его стороной. Напротив, «все свое влияние на местных жителей он употребил на то, чтобы угодить

генералу Чернову», спасти его «огромную армию, под тяжестью которой будто прогибалась казахская степь». С разгромом и гибелью этой армии для него погиб мир, не только тот, вчерашний, самовластным хозяином которого он был, но «помутившийся мир» вообще — «все погибло, весь порядок, весь тысячелетний уклад жизни». С мыслью о всесветном крушении, конце мира и уходит из романа мурза Танирберген.

Не то его вчерашний батрак, «беглец и бродяга» Еламан, вышедший с обочины жизни на магистраль истории. Революция раздвинула горизонты, укрупнила масштабы его мысли «о времени и о себе».

Сопоставим первое и последнее появление Еламана в трилогии.

«Он был одинок здесь, на льду, в море. Других рыбаков он как бы не замечал — с ним была только его привычная работа, небо над головой, и еще с ним были его мысли. И он думал, что он одинок не только в море, но и в жизни»...

И вот снова одинокая юрта на пустынном берегу Аральского моря. Но не одиноким в мире видит себя Еламан. «Никогда не тревожившие его раньше мысли» все чаще завладевают сознанием героя, чтобы у роковой черты жизни и смерти вылиться в напряженный внутренний монолог. О цели и смысле жизни. О неразрывной связи времен и поколений. О невиданной судьбе своего поколения, которое не пошло покорно «по проторенному пути предков», а смело взялось за оружие, чтобы «рука об руку с этим (русским — В. О.) восставшим народом, чужим по языку и вере, добывать себе свободу и равенство». Так новый путь национальной истории открылся ему как общий путь всенародной борьбы, вдохновляемой правдой Великой Октября и его интернациональных идеалов.

Личность и народ, народ и история, — сопрягая эти понятия, Абдижамил Нурпейсов умеет передать движение исторической эпохи через драматические перипетии человеческой судьбы. Если истина, как говорят, познается в сравнении, то, видимо, и на этот раз оно поможет нам полнее выявить новаторское значение писательского поиска.

Обратимся к ключевым сценам первой книги — «великому походу повстанцев», — отозвавшимся в третьей книге воспоминаниями Еламана о том, как «всколыхнулась казахская степь, не желая отдавать своих сынов на службу белому царю». То был 1916 год, прокатившийся гулом народных восстаний не только по казахской степи. Царский указ о мобилизации вызвал, например, знаменитое Джизакское восстание в Узбекистане, драматической эпопее которого в современной узбекской литературе посвящены и первая часть романа Назира Сафарова «Навруз», и одна из новеллистических глав романа Аскада Мухтара «Чинара». К событиям 1916 года возвращает нас и «Лихая година» Мухтара Ауэзова — «повесть о бунте смиренного рода албан».

К незабываемым событиям народной истории, художественно воссозданным М. Ауэзовым, Абдижамил Нурпейсов вернулся спустя четыре

десятилетия. И каким же разительным оказался скачок, совершенный казахской прозой за этот сравнительно недолгий срок! Если «Лихая година» открывает нам скульптурно-монументальный образ восставшего народа, словно бы высеченный словом-резцом из цельного камня, если главное для писателя здесь — создать его общий, коллективный портрет, то А. Нурпеисов прежде всего озабочен тем, чтобы, выхватив единичное и неповторимое, уловить типическое в индивидуальном, общее в конкретном. Потому даже в густонаселенных массовых сценах трилогии он никогда не довольствуется только «общим планом» и, будь то эпические картины боев под Аральском или отступления обреченной белой армии через пустыню, стремится остановить свой сосредоточенный взгляд на одной детали, одном эпизоде, какой бы малой и незначительной подробностью в потоке жизни они ни казались поначалу. Всего несколько строк занимает, к примеру, фигура молодого солдата, который, изнывая от жажды под знойным солнцем пустыни, сходит с ума на глазах Танирбергена, — драматическая повесть безымянной человеческой судьбы, одной из многих обманутых и заблудших судеб солдат белой армии. Но как много сказал нам этот поднятый до социального обобщения «индивидуальный случай» об обреченности антинародного мира, о духовном его вырождении!

С совершенством искусства индивидуализации характеров, углублением психологического начала повествования, а значит, и преобразованием поэтики романа, сложившейся у истоков национальной эпической прозы под преобладающим воздействием дастанной традиции, связано увлеченное обращение Абдижамила Нурпеисова к новому для казахской литературы приему внутреннего монолога. В этом писатель также шел по пути поиска, ведущее направление которому задал Мухтар Ауэзов, решавший новаторские задачи обогащения национального художественного опыта достижениями классического реализма русской и мировой литературы еще в ту пору первых творческих проб, когда, свидетельствовал А. Нурпеисов, «мотивы народного эпоса накладывала глубокий отпечаток не только на архитектонику и композицию произведений, но и на лепку характера, на манеру повествования и даже на способы создания пейзажа и портрета». Расширяя реалистическую поэтику казахского романа на современном этапе его развития, неустанно изыскивая новые, не использованные ранее возможности социального анализа действительности, психологического раскрытия человека, писатель приходит к внутреннему монологу, мастерское овладение которым наиболее, пожалуй, наглядно в исповеданиях Еламана и Танирбергена, передающих тончайшие переливы чувства, повороты мысли, раскрывающих «диалектику души». Как и последовательное сюжетное изложение событий или жизнеописание героя в их временной хронологической последовательности, это так же органично вошло в образный строй трилогии, пафосом которой стало эпически масштабное воссоздание революцион-

ной эпохи, прошедшей через духовную историю характера многих и разных героев. Велика галерея оригинальных портретов, самобытных характеров, выведенных Абдижамилом Нурпеисовым. Помимо названных главных героев трилогии, это и вчерашний «хозяин всего, что на земле» купец Темирке, и старый рыбак Дос, в силу слабости социального сознания не устоявший перед байскими посулами, и воплощенная мудрость народа — Есбол, и суровый, неприступный, но глубоко и сильно страдающий Суйеу. А женские характеры, даже самые эпизодические, — право же, едва ли не каждый из них может претендовать на самостоятельную повесть своей судьбы...

Есть глубокая закономерность в том, что трилогия «Кровь и пот» обозначила именно те новаторские искания казахского романа, которыми, как и лучшими достижениями романа в ряде других братских литератур, закреплено современное художественное освоение историко-революционной темы. Неисчерпаемость ее в писательском творчестве сродни непреходящему значению уроков Великого Октября в мировой истории. Утверждая их силой своих идей и образов, многонациональная советская литература обогащает память ныне живущих поколений, расширяет границы их социального и духовного опыта. Вот главное, что определяет принципиальное значение трилогии «Кровь и пот», ее место в многонациональном литературном процессе наших дней...

Раздумья о прошлом — ведущий мотив публицистики и очерков А. Нурпеисова, последовавших за трилогией «Кровь и пот», — вызывались не только ретроспективным взглядом на выстраданное, отстоявшееся, уже достигнутое. Ощутим в них и взгляд в будущее, прорыв к нему — своего рода мост, перебрасываемый к новому роману, который писатель вынашивал как раз в те годы, которыми датировано большинство его публицистических и литературно-критических статей, очерков, выступлений. Развитый в них мотив исторической памяти как неотъемлемого духовного достояния современных поколений, впрямую отозвался в романе «Долг» полифоничным звучанием ряда сцен, где прошлое и настоящее сходятся вместе, образуя в мыслях и чувствах героев, раньше и прежде всего Жадигера Амиржанова, прочный, неделимый сплав. «Мир тебе, дедовский славный край! Благодатная колыбель моих предков, пустынной травой-горечью ты поросла, горький солью подернулась», — думает он однажды, вглядываясь в далекие очертания аральских островов, что, сойдясь, «как старики на тризне, с материком, тоскливо белеют там сплошными проплешинами. На этих островах жили некогда предки, промысляя в путину рыбу, обретали здесь всегда богатые тони, а теперь он с трудом лишь по памяти находил их, и картины прошлого, одна живее другой, вставали перед ним и невозвратностью своей щемили душу»... Не «вдруг ни с того, ни с сего», как полагает Жадигер поначалу, вспоминается ему и далекий предок Кыдырбай, который «проявил

неслыханную в степи дерзость, подняв руку на хана, но не посрамил своей чести». В трудную минуту жизни «древнее предание» о батыре, «чьи кости давным-давно истлели где-то в этих немилосердных к человеку степях», укрепило в чувстве собственного достоинства...

Так, неотступно сопровождая действие, прошлое вторгается в его сюжетные коллизии то развернутыми воспоминаниями о минувшем, то мгновенным ассоциативным просверком, который вызван напряженным состоянием души, настроением, переживанием героя. Мало того: не довольствуясь легендами и преданиями, в силу своей сказовой, притчевой природы материализующими память народной истории по преимуществу мифотворчески, писатель впрямую стыкует роман «Долг» с трилогией «Кровь и пот» сценой, в которой приводит Жадигера к тому самому крутояру, где в старину «лепились одна к одной убогие землянки казахских рыбаков, нанимавшихся к предприимчивому русскому купцу. И сейчас еще на местах их скудной жизни зияют, точно обвалившиеся звериные норы, черные заплывшие ямины. Там и сям бугрятся кучи сопревшего хлама. В сизой золе когда-то жарких очагов желтеют рыбы кости. И над всем этим пепелищем равнодушно веет ветер времени. И теперь лишь старики рыбацкого поселка, невзначай проходя мимо печальных руин, могут еще сказать, где и кто когда-то жил тут: вот на этом месте землянка Калена, рядом с ним, кажется, Мунке, неподалеку — Доса, а во-о-он там, на самом обрыве крутояра, где почти совсем сровнялась с землей яма поменьше да помельче, находилась открытая всем ветрам лачужка несусветного баламута Судр-Ахмета. Почтенные старцы, ушедшие к предкам уже на твоей памяти, при жизни своей почему-то особо выделяли и точно святыню берегли останки жилья Еламана и Акбалы. Ребенком ты сам видел, уже немощные, находясь, как говорится, одной ногой в могиле, старики тем не менее собирались вместе и хоть через силу, но упрямо тащились на крутояр. И, с превеликим трудом добравшись до края какой-нибудь заветной ямы и обратясь лицом в сторону священной каабы, опускались на колени. Отложив в сторону старческие посохи, а с ними будто и все свои оставшиеся житейские заботы и мирскую суету, закрыв глаза и чуть шевеля губами, что-то шептали, и не понять было, то ли благоговейно бормотали священную поминальную молитву, то ли изливали-выговаривали сокровенную печаль, тоску по ушедшим за земные пределы родным людям, тем самым будто оставляя на родном пепелище всю накопившуюся за долгие годы боль верных любящих сердец»...

История диалектична и ее традиции традициям рознь — не устает повторять Абдижамил Нурпейсов в своей публицистике. Потому и в романе «Долг» далекие предки видятся современным потомкам вовсе не идеальными героями, рыцарями без страха и упрека, и представления о них лишены идиллии, не всегда отрадны и отнюдь не без-

облачны, омрачены памятью о бесконечных распрях, подрывавших народное единство. «...Как ни горько теперь это сознавать, но ведь, считай, одной-единственной мечтой, одним-единственным желанием, захватившим все помыслы наших предков, которые они с таким усердием и прилежанием наследовали и передавали от отца к сыну, из поколения в поколение,— было любой ценой оставаться на коне, любой ценой добиваться могущества и власти. Пусть даже самой ничтожной. Пусть хотя бы над родом. Над племенем. Хотя бы над захудалым аулом. Что угодно, но лишь бы быть на виду. Лишь бы ублажить свою спесь. И если уж самому не удавалось взнуздать и оседлать вожделенную удачу, то старались выдвинуть, посадить в то седло кого-нибудь из своих, хотя бы сородича, соплеменника, единокровника. И стоило кому-нибудь из предков-верховодов по чьему-то наущению взять в руки дубину, как все остальные слепо следовали за ним. И чего добивались? В лучшем случае — бесчинный набег на соседа. В груди глины разваливали чей-нибудь мирный аул, убивали братьев, сиротили детей». Вот и «проклятый сморчок Сары-Шая, рыжий оборотень, тарантул в облици человека», ведущего род от баламутного «корня жившего некогда в этом краю» Судр-Ахмета, воспринимается Жадигером не иначе как с раздражением, то и дело готовым разрядиться гневом, выплеснуться яростью (так это и случается в финале романа). Злокозненным олицетворением «подколотной гадюки междоусобицы» — предрассудков родового сознания, пережитков родовой морали — включается он в действие, и живучесть их наводит на горькие раздумья о том, как в давние времена неделимая казахская степь противоестественно и насильственно разделилась на три жуза. «Кое-кто из шустрых потомков, займей власть и силу, не прочь бы и сейчас, не моргнув глазом, отторгнуть» их один от другого, «разместить на трех отдаленных материках. Добейся этого безумцы — и опять братья, единые по крови и духу, по одной матери-земле, начнут постыдные дразги, посылая друг в друга отравленные стрелы — каждый из своего далека, из-за «своего» моря, из-за «своих» гор». Что такие «беззаветные отцы и деды», которые — «да не угаснет их добрая слава! — в го крутое, перековавшее мир время пошли за храбрыми русскими сынами на смертельный бой за свободу, равенство и братство!..»

«Добрая слава» поколения, совершившего революцию, отстоявшего ее в бурях гражданской войны, выступает, как видим, главным идейно-нравственным критерием — вершинной точкой отсчета, позволяющей писателю и его герою бескомпромиссно судить о прошлом кочевой казахской степи, которое знало разные, не одни только светлые и мудрые страницы, отпечатавшиеся в психологии людей, в укладе их жизни, устоях быта. Одно дело Судр-Ахмет и его нынешнее подобие Сары-Шая и совсем другое — удалой бунтарь Кален с неистребимым своим вольнолюбием, которое наследует любовно выписанный

старик, чья родословная идет от «воинственного, вечно мятежного племени адайцев, искони обитавшего на полуострове Мангышлак». В давнюю пору бесприютных кочевий случай свел их, одиноких и неприкаянных. «Двое бесстрашных конокрадов, привыкших в своей жестокой жизни почитать лишь силу с удалью да быстрые ноги коня, перекинулись при той встрече всего лишь несколькими словами, но, говорят, расстались по-братски, неведомо как успев проникнуться друг к другу приязнью. Прошли годы, и лихая беда-неудача вынудила отчаянного адаевца покинуть родной край. Очутившись на чужбине, не зная, куда деть свою буйную головушку, вспомнил он рябого верзилу с холодно-змеиными глазами, с которым когда-то столкнула его судьба в безлюдной полынной степи между Каспием и Аральском. Припомнил, как тот бросил на прощание: «Если понадобится — найдешь меня на западном побережье Арала»... И вот долго ли, коротко ли, но разыскал все-таки адаевец Калена, а там и жену себе нашел из рода жакаим, обзавелся крышей над головой... Потом, в годы коллективизации, адаевец с Каленом, загоровшись надеждой, одними из первых вступили в колхоз. Первыми обзавелись лодками и рыболовными снастями. Зимой и летом пропадали неразлучные друзья на море в погоне за нелегкой добычей, и никто не мог — ни на этом, ни на том берегу огромного моря — тягаться с ними в удаче и умении рыбачить»...

В чем смысл такого эпизодического отклонения от основного сюжетного русла? Не в том ли, чтобы состыковав еще раз роман «Долг» с трилогией «Кровь и пот», выразительней прочертить связь времен, соединить в неразрывной череде лет и десятилетий ратный и трудовой путь народа, традиции революционной борьбы и социалистического созидания? Оттого и «не прошли даром старания древних старцев, не забылись. Умирали одни, состаривались другие, но с тем же неизменным благоговением вспоминалось и посещалось пепелище предков на крутояре, и уж иные теперь старики с почтением называли обвалившиеся, полузанесенные странствующим песком ямы именами тех, кто здесь когда-то жил и любил, перемогая судьбу, ловил рыбу и растил для будущего детей... И уже новые поколения почтительно внимали их рассказам, и не кончалась, всё продолжалась неистребимая, как степная неприхотливая трава на этом клочке иссушенной земли, жизнь, тянулась через пропасти времен неразрывной цепью человеческих судеб, и имена давно усопших предков звучали в устах живых как живые, и потому всегда казалось, что где-то рядом с нынешним новым аулом все тлеет, теплится негаснущим огнем в очагах тот скорбный, как все отошедшее, но осененный светлой памятью старый аул... И порой казалось, будто вместе с живыми каждый день выходят в море и его незримые обитатели. И вместе с живыми стойко переносят все тяготы и невзгоды морских кочевий, совместным потом орошая насущный свой хлеб. И вместе, бок о бок, ходят по многотрудной и

родной приморской земле... Да, жизнь мудра, и пока на земле остается хоть одна живая, помнящая свое родство душа, светлое имя и добрые дела человека не исчезнут в ее благодарной памяти»...

Как бы два луча скрещиваются, таким образом, в романе, ярко высвечивая в точке пересечения образ Жадигера, чья нелегкая жизнь со всеми ее думами и волнениями, «бесконечной суетой и насущными заботами» колхозного председателя, семейными неладами и драмами открывается в своей исторической значимости как неотторжимое звено народной судьбы, связующей эпохи и поколения. В его лице счастливо найден и талантливо воплощен герой нашего времени, человек социально активного действия, равно наделенный неусыпным чувством гражданской совести и неукоснительным сознанием общественного долга. Недаром сказано о Жадигере, что на его «долю выпадают всегда самая тяжелая участь, самые трудные испытания»...

Так на ближайших подступах к роману по крупницам, штрихам, черточкам, зорко увиденным в доподлинных людях, которых он встречал в поездках по Казахстану, складывался в очерках Абдижамила Нурпеисова портрет современника, выписанный обобщенно, средствами романтической поэтизации, на высоких патетических регистрах.

Жадигер Амиржанов — председатель рыболовецкого колхоза. Глубоководная зыбь под ногами ему привычнее земной тверди. Но, как рассуждает он, «профессия рыбака ничем не ниже, скажем, дела рисовода, чабана или табунщика. Всегда считал древний многотрудный промысел предков не менее, чем любое другое, достойным занятием и для своих рук». Стало быть, и труд его в романе достоин такого же апофеоза, в какой вылились очерки Абдижамила Нурпеисова о героях казахстанских полей. Не в этом ли убеждает воспоминание о том, как «в былые добрые времена, совсем вроде недавно, когда после затяжного осеннего ненастья вдруг неожиданно обрушивалась крепким морозцем зима и залив под кручей за одну ночь схватывало, затягивало тонким льдом, все прибрежные аулы выходили дружно на море? Да и кого из сыновей потомственных рыбаков не охватывала радость при появлении первого берегового припая, вестника удачи? Кого не тянуло первым выйти на молоденький упругий ледок, чтобы, весело рискуя, испытать его надежность и натывать вдоль закраины полыньи караульных вешек? Да, ставить первую сеть под молодым льдом для рыбаков всегда столь же радостно и священно, как для дехканина по весне бросить первую горсть семян в свежевспаханную землю».

Не только в прошлое отнесены подобные сцены, хотя в настоящем их далеко не всегда отличает такой же мажорный настрой. «Лодки, продавливая и проламывая закраины, на пределе риска кренясь, черпая носом зловеще-тяжелую зимнюю воду, одна за одной соскальзывали со льда, и тут же натыкались на упругие встречные волны и начинали беспомощно подпрыгивать и заваливаться на месте, пока рыбаки, сильно и слаженно загребая веслами, не направляли их вперед. И по-

том весь день на свирепом ветру в открытом море, борясь с волнами; удерживая с трудом скакавшую под ногами лодку, тянули со стоном, вытаскивали из ледяной кипени набравшие тяжелой шуги сети, обмерзали мигом»...

Как объяснить разительное расхождение в эмоциональной окраске приведенных отрывков? Разве труд аральских рыбаков не представлен в последнем героическом деянии, которому равно сопутствуют и риск самопожертвования, и ликующая радость победы? Чем, к примеру, не подвиг, который грозил обернуться гибелью, — переправа через Сырдарью по хрупкому, ломкому ледяному насту, едва не проломившемуся под тяжестью грузовика? Возможно ли не разделить ликования истосковавшихся по доброму улову людей, которые добрались вослед Жадигеру до обильных озерных тоней? «Точно ошалев, полезли к кабине со всех сторон. Кто-то склонился над тобой. Кто-то вытер пот с лица. Другой в грубоватой ласке крепко хлопнул тебя по плечу, сунул в руки фляжку с водой. Колготня. Счастливая суета. Давка. Ты поднимал отяжелевшие веки, и как-то смутно, точно спросонок, воспринимал все, что творилось вокруг. Ты видел неподдельную радость на грубых от мороза и ветра лицах рыбаков. Видел ликующий блеск в их глазах. Потрескавшиеся губы растягивались в улыбке. Ослепительно белые зубы обнажались в хриплом хохоте. Перебивали друг друга голоса»...

Вслушаемся, однако, в интонацию повествования, которую писатель искусно передает герою, ведущему сюжет в исповедальном ключе монологических раздумий о прожитом и пережитом. Надсадно горчит недолгое и переменчивое рыбацкое счастье, отравленное сознанием удачи, которой могло не случиться, везенья, которое могло не выпасть. Точно так же горчит оно и в сценах лова в низовьях Амударьи, где «всех охватила какая-то лихорадка. И у всех, несмотря на усталость, было приподнятое, именно лихорадочное настроение». Лихорадка — точнее не найти. Непомерна цена, которой оплачено выполнение месячного плана за пять аральных дней, когда «берега реки стали скользкими от рыбьей крови, внутренностей и чешуи», а «распаленные азартом добычи» люди «не успевали обрабатывать все нараставший вал свежего улова». Слово бы ненароком — ненавязчивый толчок к сопоставлениям — замечено: «Суматоха стояла, как на хирмане в пору страды». Но такими ли словами описывал Абдижамил Нурпеисов уборочную страду, с похожим ли пафосом воссоздавал кипучую атмосферу на полеводском току? Не в том лишь различие, что романтическая поэтизация к которой он тяготел в очерках, уступила в романе место реалистическому исследованию, обобщенность портретов — индивидуальной выразительности характеров, проявленных в определенных конкретных, детализированных обстоятельствах. Суть в том, каковы обстоятельства. «На беде Арала нажились» — жестко роняет Жадигер. Этим объясняется все: и «тяжесть неудач», когда «ни одной, даже самой распоследней

рыбешки» не застревало в сетях и неводах, и редкие вознаграждения за них, когда удавалось настигнуть рыбу, пугливую и строптивую, как скот в бескормицу. «Да, мелеющее море что посохшее пастбище. Если оскудели выпасы — хиреет скот; если поднимется в море соленость — тогда гибнет рыба. И вот уходит она, шарахается от губительной соли заливов и мелководья, устремляется туда, где попреснее и поглубже вода».

Не иначе знаком беды, то безмолвно вопрошающими, то отчаянно кричащими воспринимаются эти и многие другие беспощадно выписанные картины истощения Аральского моря, оскудения приаральской земли. Кажется, будто выцветает, тускнеет и блекнет безоглядная синь над ними, в которую сливаются вода и небо, и неулыбчиво «прямо из морских глубин» восходит солнце, а повисает раскаленным, всепрожигающим шаром над прозрачной чашей, усохшей, опавшей «на четыре человеческих роста»: и бурдюка воды не перепадает ей в иное лето... Все дальше отступает, уходит море, плескавшееся возле аулов, «во всей своей наготе, почти срамной для тебя, рыбака», сиротливо обнажаются берега, растерявшие свое пышное разнотравье, густые камышинные царства. «Высохшая земля истрескалась такырами, проступила всюду вездесущая азиатская соль», и солончаковая сплошная плешь эта напоминала теперь просоленную и затвердевшую верблюжью шкуру. Знойными днями, когда с окрестных степей поднимается ветер, здесь крутят, хозяйничают, как хотят, лишь одни пыльные бури... Обезлюдел порт: «точно туши гигантских рыб, выброшенных бурей на берега и мели», застыли на вечном приколе обветшалые суда... «Глухой и тягостный плач» прощания плывет над пустеющими аулами: люди домами снимаются с обихоженных мест, и «черными провалами окон пустогазо и скорбно смотрят на дорогу» еще недавно «такие обжитые и уютные жилища, где принимались роды детей, горел у очага огонь»...

Что это, как не печать нарушенного равновесия между человеком и природой, которое отзывается предельным напряжением их сил? Уже не знаком беды — сигналом бедствия становится в романе «слитный гул и шорох всесветного движения», от которого содрогается степь, как во времена древних кочевий. И в самом деле кочевье, какого не видывали «не то что нынешнее поколение, не то что отцы, но даже деды и прадеды»: навстречу «черной напасти», какой станет для них соленая морская вода, бегут к Аралу истомленные жаждой бесчисленные косяки сайгаков. «Ископыченная земля превратилась в горячую золу. Даже птицы не летали в дневной зной. Сайгаки, одурев, метались по степи в поисках тени, скрывались, где могли: в лощинах, оврагах, прибрежных чахлых зарослях... Смерть настигала их повсюду». И не было от смерти спасения ни днем, при палящем солнце, ни тем паче, ночью, когда она являлась в облики «огненноглазых неведомых чудищ, с гуденьем напозавших... со всех сторон из тьмы» на загнанных живот-

ных, которые, цепенея от страха, «давя и обезумело налезая друг на друга», сбивались «в одну сплошную, качающуюся, хрипящую массу. Грузовики с тяжким ревом наехали — сначала один, потом другие... Сбивали бамперами, бортами, давили колесами, с хрустом переезжали податливые, еще дрожавшие тушки... Сотни и сотни сайгаков, коз и косуль — тонконогих, изнуренных, с гноящимися от пыли, мутными от ужаса глазами — были забиты, загублены, задавлены ради рогов, кое-кто даже, нимало не смущаясь, говорил — «пантов»... Все только и повторяли, разносили слова Сары-Шаи. Добыча, рога. Дармовые деньги. Много денег. Кипы, охапки денег. Как сено! Настигай! Хватай! Бей! Истребляй, где можешь! Многие, верно, и во сне видели горы козлиных рогов и охапки красно-пестрых купюр»...

Конечно, бесчинство, разбой браконьеров потехи или наживы ради — крайнее проявление хищнического истребления природы. Но и таких крайностей не вправе избегать писатель, намеренно доводящий до логического предела напряженную мысль Жадигера о губительных последствиях нарушенного равновесия человека и природной среды его жизнедеятельности, о невозполнимости возникающих при этом потерь — и народнохозяйственных, экономических, и духовных, нравственных, морально-этических. Такого рода заострения, вплоть до нескрываемо публицистических, в природе романа, герой которого поставлен в исключительную, экстремальную ситуацию. Многое и разное сплетено в ней тугим клубком драматических противоречий, в распутывании которых глубоко и сильно страдающему Жадигеру не до рассчитанных, взвешенных доводов, трезво учитывающих всевозможные «за» и «против». По сути дела весь его внутренний монолог, воспоминание и исповедание, занимающий сотни страниц книжного текста и объемлющий ни много ни мало тринадцать беспокойных лет, не считая ретроспективных отступлений в детство, школьную и студенческую юность, разворачивается в считанные часы, когда он оказывается «один-одинешенек на открытой всем ветрам льдине», «на безлюдном ледяном поле», которое символически уподоблено полю самой судьбы. Но на то и судьба, чтобы заново переживая, переосмысляя ее путем пристального самоанализа, взыскательного самопознания (отсюда это постоянное обращение к себе на «ты»), не обходить увертливо ухабов и рытвин, а нам, читателям, в эмоциональной реакции на них не искать «ума холодных наблюдений», здраво понимая, что не до них герою, если у него болит и бунтует смятенная душа.

Впрочем, не так уж и «перебарщивает» Жадигер, предъявляя людям суровый спрос за насилие над природой. «Оглянитесь, осталось ли живое место на маленьком, в сущности, островке жизни, именуемом Землей? В него вгрызается бур за буром, его рвут стальными клыками, взрывают динамитом, долбят днем и ночью, хищно вспарывают, разворачивают страдающую живую плоть». Заостряя так свою мысль, он вряд ли знает наверняка, что не по букве, а по духу слова

не устает возглашать почти то же, что и ученые-философы, обеспокоенные нерешенностью проблем, которые в условиях современного развития «приобрели универсальные масштабы и глобальное значение», так как затрагивает интересы всего человечества, а в перспективе — и его будущее. В ряду этих естественно-научных, научно-технических, социальных и социально-политических проблем, требующих «для своего решения сопряженных, объединенных усилий всего человечества», проблемам экологическим, порождаемым ухудшением окружающей среды, истощением природных ресурсов планеты, близоручо потребительским отношением к богатствам природы, также принадлежит ведущее место, и нерешенность их в общемировом масштабе создает трудности такого рода, что, «если не принять экстренных мер, ход событий может привести к катастрофе»<sup>1</sup>.

Вдумаемся всего в несколько цифр, которые приводят советские и зарубежные ученые, предостерегая о реальной опасности изменения климата на Земле. По отношению к началу века загрязненность атмосферы возросла на 20 процентов. В 1970 году объем загрязняющих отходов производства составил 40 миллиардов тонн, к концу столетия он достигает 100 миллиардов тонн. И в 10 раз грозит увеличиться к 2000 году объем загрязненной воды...<sup>2</sup> Не будем считать это свидетельством фатальной обреченности, изначальной враждебности человеку научно-технического прогресса, сбрасывая тем самым со счета социально-политическую структуру общества, в котором он осуществляется. Но согласимся, что даже случайные отступления от научно разработанных программ экономического управления, хозяйственной организации, регулирующих взаимодействие человека и природы, оборачивается волюнтаризмом скороспелых решений, опасных, сверх всего тем, что «за материальные, как правило, кратковременные выгоды часто продаются этические и моральные ценности»<sup>3</sup>.

Герой Абдижамила Нурпеисова не прибегает к понятию глобальных проблем человечества, но на судьбу родного Аральского моря смотрит по существу в их контексте. Неутомимый труженик, «синий Арал» честно и до конца исполнил свой долг, «во все времена был надежным благодетелем и кормильцем не одного поколения казахов». Бескорыстно и щедро пожертвовал он собой, отдав наполнявшие его воды двух могучих и вольных рек преобращению пустыни, орошению засушливых степей, в которых трудовыми усилиями братских народов Средней Азии и Казахстана зазеленели бескрайние хлопковые и рисовые поля. Что и говорить, не тот это случай, печально поучительный урок которого академик А. Г. Аганбегян не так давно извлекал на примере целлюлоз-

<sup>1</sup> В. В. Загладин, И. Т. Фролов. Глобальные проблемы современности: научный и социальный аспекты. М., «Международные отношения», 1981, с. 5, 9.

<sup>2</sup> Там же, с. 154, 155.

<sup>3</sup> Аурелио Печчей. Человеческие качества. М., «Прогресс», 1980, с. 45.

ного комбината на Байкале. Построенное предприятие «экономически крайне невыгодно: оно по многим показателям хуже, чем могло бы быть в другом месте. А его можно было построить где угодно, потому что оно не нуждается в чистой воде Байкала. К тому же и доставка древесины туда затруднена. Но... победила амбиция некоторых руководящих работников, стоявших на ведомственных позициях»<sup>1</sup>.

Случай не тот. Но, как сказал поэт, все же, все же, все же...

Не мирится душа Жадигера с пророчеством скорой, хотя бы и геройской, гибели Арала. Не приемлет ликования, которым полны проекты его посмертного будущего — от двух соляных озер «с крепчайшим рассолом на дне» древнего моря до «райской жизни» на земле обетованной, каковой-де станут «десятки тысяч квадратных километров» плодородной илистой почвы: обнажив их, добьются люди наконец, желанного изобилия; будут выращивать хлопок, рис и кукурузу, строить белокаменные агрогорода, а их широкие проспекты, ни в чем не уступающие Невскому, будут обсажены диковинными деревцами, и вдоль улиц в чистых, плитками выложенных арыках заструится хрустальная вода, а на площадях и скверах забьют разноцветные фонтаны.

Как тут не вспомнить «города на дне океана»!.. Что, спросят, за города такие, откуда взялись, кому и зачем вдруг понадобились? Сие, слава богу или аллаху, нам пока что неизвестно. Но, в противовес якобы поднадоевшим, докучливым деревенским проселкам, о них призывал как-то писать запальчивый участник очередной дискуссии о современной прозе, позабыв в пылу полемики о грешной земле, на которой жить, которую обихаживать и обустраивать людям, населяющим не фантастические, а реальные грады и веси.

Реализма — вот чего недостает «именитому земляку» Жадигера, его другу-врагу академику Азиму. В принципиальный идейный диспут о смысле жизни, человеческом назначении на земле разгорается их жаркий спор, в котором сталкиваются не просто и не только разные взгляды на судьбу Арала, но противоположные, несовместимые философские, социальные, нравственные позиции. «Ныне наступила эпоха дела. Эпоха трезвого ума и холодного расчета» — вещает Азим, смеясь, простившийся с канувшими в вечность временами поэтов и влюбленных, которые «восхищались звонким ручейком, прозрачной гладью озера, шорохом листьев, любовались луной, звездами, сочиняли сладкозвучные стихи». Будто и не до любви уже нам сегодня, не до поэзии, не до красоты природы, не до прочих духовных ценностей бытия и даже нравственных норм общежития. Все это, так же смеясь, подирает Азим, исповедуя прагматическую мораль дела, которое оборачивается на поверку близоруким деячеством, узколобой утилитарностью с их неизменными идолами сиюминутной выгоды, одномоментной пользы, меркантильными сообра-

<sup>1</sup> ЭКО (Экономика и организация промышленного производства), 1982, № 3, с. 152.

жениями карьерного престижа. «...Мы предлагаем самый эффективный и прогрессивный выход: выращивать на освобожденной от моря плодородной земле хлопок, рис и другие передовые, выгодные культуры» — упорствует этот «рыцарь на час» в тщеславном стремлении «облагодетельствовать, осчастливить», если не все человечество скопом, то по крайней мере — не без корыстного расчета на памятник «в здешнем обновленном краю» — своих земляков. Дальше мраморного бюста в признании его преобразовательских заслуг взгляд в будущее у Азима не простирается. Оттого и сомнениям Жадигера, «будет ли вообще со временем какая материальная отдача, хоть самая малая», от жертвы, принесенной «ради ничтожной сегодняшней корысти локального значения», он не в силах противопоставить ничего, кроме трескучих фраз о природе, которая «не музейный экспонат» и «должна служить повседневным потребностям». Заскорузлым эгоизмом веет от ученых мудрствований пробивного, напористого временщика, демагогически камуфлирующего свое жадное и хваткое потребительство. Похоже, изувечить природу для него не больше, чем разбить чужую семью. Действия разного масштаба, но одного ряда.

По счастью, не так уж и везуч Азим, как это кажется подчас его столичным прихлебателям и доверчивым аулчанам. И Жадигер, в свою очередь, не так одинок, как представляет себе в минуту смятения. Не в том даже дело, что и по Азиму в числе других «преобразователей Арала» уже печатно прошла «некая, хоть и смутная, критика», что в институте, который он возглавляет, по слухам, «не все спокойно». И не в том, что «кроме риса, хлопка и рыбы есть нечто большее» не для одного Жадигера, но, например, и для Рыжего Ивана. «Еще под Сталинградом, в самый грозный час битвы, он вступил в партию. После того, как стал председателем колхоза, ты первым делом предложил Рыжего Ивана секретарем парткома. Долгие годы, считай, до недавнего времени, когда море стало усыхать, а колхоз хиреть, — вы работали рука об руку, разделяя радости и горести вместе. Работалось тебе с ним легко, ибо на этого всегда спокойного и надежного человека можно было положиться во всем». Главное в том, что на стороне не Азима, а Жадигера мысль народная, государственная, партийная, которой и вдохновлены не однажды повторенные в романе слова: «Быть или не быть человеку на земле, зависит от того, будет или не будет природа». Произнося их, Жадигер горячо ратует не просто за рачительное хозяйствование на земле, бережное отношение к ее богатству. В конечном счете они — содержательная формула, которая емко включает в себя философию романа, выражает социальный оптимизм писательского миропонимания и жизнеутверждения. И потому созвучна многим сокровенным мотивам, пронизывающим прозу и публицистику Абдижамилла Нурпеисова.

Назовем их полифоничными мотивами неистребимого доверия к жизни, ее мудрости и красоте, гуманистической устремленности и сози-